



ПОПАДАНКА В ТЕЛО ОБРЕЧЕННОЙ ЖЕНЫ

ЮЛИЙ ЛЮЦИФЕР

Юлий Люцифер

**Попаданка в тело
обреченной жены**

«Литнет»

2026

Люцифер Ю.

Попаданка в тело обреченной жены / Ю. Люцифер — «Литнет», 2026

Когда я открыла глаза в чужом теле, первое, что поняла — эта женщина не должна была дожить до утра. В этом доме меня уже приготовились оплакивать. Муж смотрел так, будто моя смерть была удобнее моей жизни. За дверями шептались о будущем без меня. У его стола уже слишком уверенно сидела другая женщина. А лекарства, которыми меня “спасали”, пахли не надеждой, а приговором. Я попала в тело обреченной жены. Жены, которую медленно и красиво убирали из жизни — через болезнь, тишину и чужую заботу. Но они ошиблись в одном. Умирать за нее я не собираюсь. Теперь мне придется понять, кто и зачем готовил ее смерть. Почему муж то отталкивает меня, то спасает так, будто уже однажды не успел. Какие тайны прятала прежняя хозяйка этого тела. И почему в этом доме бояться не моей слабости, а моей памяти. Они ждали тихую, удобную, умирающую жену. Но в ее теле проснулась я. И если кто-то думал, что сможет похоронить меня живой, — он сильно опоздал.

© Люцифер Ю., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1: Я очнулась в теле жены, которую в этом доме уже приготовились оплакивать	5
Глава 2: Муж смотрел на меня так, будто моя смерть была удобнее моей жизни	11
Глава 3: Мне велели лежать тихо, пока в соседней комнате делили мое будущее	17
Глава 4: В зеркале я увидела женщину, которую убивали не болезнью, а чужой волей	22
Глава 5: Служанка назвала меня госпожой с таким страхом, будто живая я опаснее мертвой	27
Глава 6: Я нашла письмо, которое обреченная жена не успела никому отдать	32
Глава 7: Женщина, занявшая место у его стола, слишком рано почувствовала себя хозяйкой	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Глава 1: Я очнулась в теле жены, которую в этом доме уже приготовились оплакивать

Я пришла в себя оттого, что кто-то слишком резко отдернул тяжелую штору, и в глаза ударил серый, холодный свет.

— Госпожа...

Женский голос дрогнул так, будто ему велели говорить с умирающей, а он внезапно получил в ответ живой взгляд.

Я хотела спросить, где я, но горло царапнуло сухой болью, будто я не говорила очень давно. Воздух пах воском, травами и чем-то сладким, приторным, от чего сразу подступила тошнота. Я моргнула, пытаюсь собрать картинку во что-то внятное, и только тогда поняла, что надо мной не мой потолок.

Не моя комната.

Не моя жизнь.

Над кроватью висел тяжелый балдахин из выцветшего темно-зеленого бархата. По стенам тянулись деревянные панели, старые, темные, с резьбой, которую в полумраке почти не было видно. На столике у окна стояли пузырьки, чашка с мутным осадком на дне и ваза с белыми, уже начавшими вянуть цветами. У камина чернела ширма. На кресле лежала меховая шаль. И все это выглядело не как декорация к фильму, а как комната, в которой кто-то долго и тщательно ждал чужой смерти.

— Госпожа, вы меня слышите? — снова спросил тот же голос, уже почти шепотом.

Я перевела взгляд в сторону.

У кровати стояла девушка в темном платье служанки, лет двадцати, не больше. Лицо у нее было бледное, руки дрожали так сильно, что она прижимала их к переднику. Но страшнее всего были ее глаза. Не радость. Не облегчение. Страх.

Страх человека, который рассчитывал увидеть слабое умирание, а увидел нечто, для чего его никто не готовил.

Я открыла рот.

— Где...

Голос сорвался.

Девушка вздрогнула.

— Позвать милорда? — выпалила она слишком быстро. — Или лекаря? Или... или леди Эвелин?

Я смотрела на нее и чувствовала, как внутри поднимается ледяная волна паники. Это не больница. Не реанимация. Не сон. Я не знала эту девушку. Не знала эту комнату. Не знала даже собственных рук, лежащих поверх темного покрывала. Они были тоньше моих, бледнее, с длинными пальцами и узкой ладонью, на которой синела паутина вен.

Чужие руки.

Я резко села.

Мир тут же качнулся. В висках ударило так, будто голову стиснули железным обручем. Но я уже не могла остановиться. Подняла ладони к лицу, коснулась щек, волос, шеи. Волосы были длинные, тяжелые, спутанные, кожа — слишком холодная, слишком тонкая. Я рванула край покрывала и замерла, глядя на себя.

На мне была не моя одежда. Длинная белая сорочка с кружевом у горла, худое чужое тело под ней и следы старых синяков на запястьях, почти сошедших, но еще заметных под кожей.

— Боже...

Это вырвалось само.

Девушка побледнела еще сильнее.

— Госпожа, не вставайте, вам нельзя... вам же вчера опять было очень плохо... вы почти не дышали...

Я подняла на нее глаза.

— Как меня зовут?

Она застыла.

Несколько секунд просто смотрела на меня, как будто именно этот вопрос пугал ее больше всего.

— Госпожа?

— Как. Меня. Зовут.

— Леди Мирен, — прошептала она. — Вы... вы леди Мирен Арден.

Имя ничего мне не сказало.

Совсем.

Ни искры узнавания, ни смутного отклика, ничего. В груди, наоборот, стало еще холоднее. Потому что если это был сон, то слишком подробный. Если безумие — слишком связанное. А если нет... я просто не знала, что тогда “если”.

Леди Мирен.

Арден.

Чужая фамилия. Чужая жизнь. Чужое тело.

— Зеркало, — сказала я.

— Госпожа, вам нельзя волноваться...

— Зеркало.

На этот раз она не спорила. Почти бросилась к ширме, вынесла оттуда высокое зеркало в тяжелой раме и поставила так, чтобы я могла увидеть себя, не вставая с кровати.

Я посмотрела — и на несколько секунд просто перестала дышать.

Из зеркала на меня смотрела женщина, которую я никогда в жизни не видела.

Не старуха и не девочка. Молодая, очень красивая и очень бледная. Лицо с тонкими чертами, темные глаза в резкой оправе ресниц, волосы цвета темного каштана, сейчас спутанные и тяжелые, как мокрый шелк. Но самой страшной была не красота. Самым страшным было выражение этого лица. Даже в неподвижности в нем жило что-то измученное. Не мягкая слабость больной женщины. Долгое, глубокое, почти беззвучное истощение человека, который слишком долго ждал удара.

Я подняла руку, и отражение подняло свою.

Провела пальцами по щеке — и чужая женщина в зеркале повторила это движение с той же жуткой точностью.

Нет.

Нет.

Нет.

Я оттолкнула зеркало так резко, что девушка вскрикнула и едва успела его удержать.

Сердце колотилось уже где-то в горле.

— Это не я.

Служанка смотрела испуганно.

— Госпожа, прошу вас... вам нельзя так... доктор говорил...

— Что говорил доктор?

Она осеклась.

— Что... если вы очнетесь, вам нельзя волноваться.

Очнетесь.

Я уставилась на нее.

— То есть вы ждали, что я не очнусь?

Она побелела так резко, что мне показалось, будто сейчас рухнет на колени.

— Нет, госпожа, я... я не то хотела сказать...

Но это было именно то.

Ждали.

В этой комнате давно уже жили не надеждой на мое выздоровление, а готовностью к моей смерти. Вялая белая ваза, лекарства у окна, тяжелый запах трав, страх служанки, мутный осадок в чашке, мои худые руки, синяки на коже — все кричало об одном и том же. Эта женщина, в чьем теле я открыла глаза, не просто болела. Ее уже почти списали.

Я медленно перевела взгляд на столик у окна.

Пузырьки, настойка, чашка. Меня почему-то особенно тянуло именно к ней. К этой чашке с темным следом на дне, как будто там недавно было что-то густое, сладкое, липкое.

— Что это?

Девушка нервно обернулась.

— Лекарство.

— От чего?

Она молчала.

Вот теперь уже не просто боялась — молчала по-настоящему. А значит, вопрос был не невинным.

— От чего? — повторила я.

— От слабости, госпожа.

— Какой именно слабости?

Она так и не ответила.

И в эту секунду я поняла: дело не только в чужом теле. Не только в том, что я здесь никого не знаю. Меня окружала не просто странная жизнь. Меня окружала ложь, слишком давно ставшая привычной.

Дверь распахнулась резко, без стука.

В комнату вошла женщина лет сорока в темно-бордовом платье. Высокая, идеально прямая, с гладко убранными светлыми волосами и лицом, которое, должно быть, когда-то называли красивым, пока оно окончательно не превратилось в маску холодного порядка. За ней следом мелькнул пожилой мужчина с медицинским саквояжем.

Женщина увидела меня сидящей и замерла.

Всего на одно мгновение.

Но мне этого хватило, чтобы понять: да, ее тоже застали не в том развитии событий, на которое она рассчитывала.

— Мирен, — произнесла она очень ровно. — Ты проснулась.

Не “слава богу”.

Не “как ты себя чувствуешь?”.

Не “мы так боялись”.

Просто констатация. Почти как досадная перемена в распорядке дня.

— Похоже на то, — ответила я.

Служанка позади нее тихо ахнула.

Женщина же лишь слегка приподняла бровь. Значит, не только мое пробуждение, но и мой голос сейчас ломали чей-то заранее отработанный порядок.

— Ты не должна вставать, — сказала она. — Лекарь предупреждал, что после такого приступа тебе нужен полный покой.

После такого приступа.

Удобная формулировка.

Слишком удобная.

— Как вас зовут? — спросила я.

Пожилой лекарь дернулся, будто я сказала что-то неприличное. Женщина тоже изменилась в лице — едва заметно, но я увидела.

— Ты не узнаешь меня?

— Нет.

Вот теперь тишина в комнате стала живой.

Опасной.

Потому что, кажется, никто здесь не был готов к самому простому и самому страшному: женщина, которую они почти похоронили, не просто открыла глаза. Она вышла из их сценария совсем.

— Я леди Эвелин, — сказала она после паузы. — Сестра твоего мужа.

Значит, не хозяйка дома. Но и не посторонняя.

Слишком уверенная. Слишком спокойная. Слишком привыкшая говорить в этой комнате как человек, которого обязаны слушать.

— А где мой муж?

Она посмотрела на лекаря. Лекарь — на нее. И в этом коротком обмене взглядами было больше правды, чем во всех их словах с момента моего пробуждения.

— Милорд был занят, — сказала Эвелин. — Я уже отправила за ним.

То есть нет. Не ждал у постели умирающей жены. Не примчался, услышав, что она открыла глаза. “Был занят”.

Хорошо.

Эта жизнь становилась все яснее и все хуже одновременно.

Лекарь шагнул ближе.

— Позвольте осмотреть вас, миледи.

Я отдернула руку, прежде чем он успел коснуться пульса.

— Сначала вы скажете, чем я болею.

Он моргнул.

Потом, как люди его склада делают всегда, когда хотят прикрыть неведение или ложь солидностью, поджал губы.

— У вас были тяжелейшие нервные истощения, слабость, приступы лихорадки, провалы сна, осложнения после...

Он тоже осекся.

Я смотрела на него и вдруг почти физически почувствовала, как в этой комнате слово “болезнь” давно уже превратилось в удобную ткань, которой накрыли что-то куда более уродливое.

— После чего? — спросила я.

Он молчал.

Эвелин вмешалась сразу:

— Тебе сейчас не нужны лишние подробности.

Вот оно.

Я впервые посмотрела на нее по-настоящему внимательно.

Не как на родственницу. Как на женщину, которой очень важно, чтобы я сейчас не начала задавать правильные вопросы.

— Мне нужны именно подробности, — сказала я.

Она улыбнулась.

Очень мягко.

Слишком мягко.

И именно от этой мягкости у меня по спине пошел холод.

— Мирен, ты долго была в тяжелом состоянии. Иногда тело просыпается раньше памяти. Это нормально. Главное — не пугать себя.

Нормально.

Не пугать себя.

Я узнала этот тон сразу, хотя никогда прежде его не слышала. Так говорят не тем, кого хотят успокоить. Тем, кого хотят удержать в мягкой клетке, пока они не начали видеть слишком отчетливо.

— А если мне страшно не от памяти? — спросила я. — А от вас?

Служанка у двери едва не уронила поднос с чистым полотенцем.

Лекарь кашлянул.

Эвелин же впервые за все время перестала выглядеть безупречно спокойной. Совсем чуть-чуть. Но мне и этого хватило.

Значит, я ударила туда, где под красивой вежливостью у нее уже живет не забота. Раздражение. Возможно, страх.

— Ты не понимаешь, что говоришь, — сказала она тихо.

— А вы, похоже, слишком хорошо понимаете, что я начала спрашивать.

Тишина после этих слов была такой плотной, что я почти слышала собственное сердце.

И в этой тишине мне вдруг стало кристально ясно: женщина, в чьем теле я очнулась, была обреченной не потому, что ее убивала болезнь. Болезнью здесь удобно называли что-то другое.

Дверь снова открылась.

На этот раз в комнату вошел мужчина.

Высокий. Темноволосый. В темном сюртуке. Лицо резкое, красивое и такое холодное, что даже у меня внутри все на секунду натянулось, как струна. Не из-за его внешности. Из-за взгляда.

Он смотрел на меня так, будто видел не чудо и не спасение.

Проблему.

Очень серьезную проблему, которая только что открыла глаза раньше, чем ей было положено.

— Мирен, — сказал он.

И только тогда я поняла: вот он.

Муж.

Тот самый, ради которого эта женщина, возможно, жила, страдала, боялась — или уже давно умирала.

Я ждала хоть чего-то.

Тепла.

Шока.

Облегчения.

Злости.

Чего угодно живого.

Но в его лице было другое.

Почти неприкрытая тяжесть человека, которому моя смерть, вероятно, не приносила счастья — но моя жизнь теперь явно обещала слишком много неудобств.

— Похоже, я вернулась не вовремя, — сказала я.

Он не ответил сразу.

И от этого стало только хуже.

Потому что в молчании мужчин очень быстро слышно главное: он не знает, рад ли, что жена жива.

— Тебе нужно лежать, — сказал он наконец.

Та же фраза.

Тот же тон.

Тот же порядок.

Будто все здесь были сговорены не вокруг моего выздоровления, а вокруг одного удобного сценария, в котором я должна быть тихой, слабой и послушной.

Я смотрела на него и чувствовала, как во мне поднимается не просто страх.

Упрямство.

Очень холодное.

Очень ясное.

Если я действительно попала в тело обреченной жены, то умирать по их сценарию не собираюсь.

Ни за что.

— Нет, — сказала я.

Муж чуть нахмурился.

— Что?

— Я больше не буду лежать тихо, пока вы все решаете, когда мне удобнее умереть.

В комнате стало так тихо, будто даже огонь в камине перестал потрескивать.

Служанка у двери побледнела окончательно.

Эвелин выпрямилась еще сильнее.

Лекарь опустил глаза.

А мой муж смотрел на меня так, будто именно в эту секунду впервые понял: женщина, которую они уже приготовились оплакать, не просто выжила.

Она вернулась не той, кого они знали.

И это пугало их сильнее моей смерти.

Глава 2: Муж смотрел на меня так, будто моя смерть была удобнее моей жизни

После моих слов о том, что я больше не собираюсь лежать тихо, пока все вокруг решают, когда мне удобнее умереть, в комнате повисла та особая тишина, в которой люди уже не могут делать вид, будто все идет по заранее знакомому сценарию.

Лекарь опустил глаза.

Эвелин замерла с идеально прямой спиной, но я уже видела: под ее ровной светской маской что-то дрогнуло.

Служанка у двери, кажется, вообще перестала дышать.

А муж...

Муж смотрел на меня так, будто не знал, кого именно сейчас видит перед собой.

Не радость.

Не испуг за жену.

Не облегчение мужчины, который почти потерял и внезапно вернул.

Нет.

В его взгляде было нечто гораздо страшнее.

Тяжелое, холодное, почти невыносимо сдержанное напряжение человека, которому моя смерть, возможно, не приносила счастья, но моя жизнь ломала чьи-то уже выстроенные решения.

— Все вон, — сказал он наконец.

Голос у него был тихий.

Не повышенный.

Но в нем жила такая жесткость, что лекарь едва заметно вздрогнул, а служанка бросилась к двери почти раньше, чем Эвелин успела двинуться.

Сестра мужа, однако, не ушла сразу.

Она перевела взгляд на него.

Тот короткий, почти невидимый обмен между ними сказал мне больше любых слов. Не “бедная Мирен очнулась”. Не “слава богу”. Нет. Они оба сейчас думали о том, что делать дальше.

Со мной.

— Ты уверен? — спросила Эвелин.

Он даже не посмотрел в ее сторону.

— Да.

Вот это “да” было не про мужа у постели больной жены. Про хозяина дома, который принял решение оставить меня наедине с собой не из близости. Из необходимости.

Эвелин медленно кивнула.

Но прежде чем уйти, все-таки повернулась ко мне.

— Тебе нельзя себя утомлять, Мирен. Ты еще не понимаешь, насколько была близка к концу.

Я смотрела на нее и чувствовала, как внутри поднимается уже знакомое ледяное раздражение. Слишком мягкий голос. Слишком правильные слова. Слишком ласковая забота, за которой стояла не тревога о моей жизни, а раздражение, что я вдруг отказываюсь быть удобной умирающей.

— Возможно, — сказала я. — Но, кажется, к моему концу тут уже слишком многие успели подготовиться заранее.

Она не ответила.

Только на секунду очень внимательно всмотрелась в мое лицо — так, будто пыталась разглядеть под ним прежнюю женщину. Ту, которую знала, контролировала, возможно, даже постепенно ломала. Но, видимо, не нашла.

Потом ушла.

Дверь закрылась.

Мы остались вдвоем.

Я и мужчина, которого назвали моим мужем.

Он не подходил ближе.

Стоял у камина, высокий, темный, почти неподвижный, и весь его вид говорил о том, что молчание — не растерянность. Привычка. Возможно, даже оружие. Мужчины, умеющие так молчать, почти всегда слишком хорошо знают, что, пока молчат они, говорить начинает кто-то другой. А значит, выдает больше, чем собирался.

Я не собиралась облегчать ему задачу.

— Как вас зовут? — спросила я.

Тень удивления скользнула по его лицу.

Слабая, но я успела ее увидеть.

— Не помнишь?

— Нет.

Он помолчал.

Потом сказал:

— Рэйвен Арден.

Рэйвен.

Имя отозвалось странно. Не воспоминанием. Скорее чем-то тягучим, тяжелым, как далекий удар по колоколу в густом тумане. Но ничего больше не пришло. Ни образа, ни ощущения любви, ни даже телесной привычности. Только понимание: прежняя Мирен, кем бы она ни была, слишком много жила рядом с этим мужчиной, чтобы его имя звучало внутри совсем пусто.

А я — нет.

Я смотрела на него, а он — на меня. И от этого становилось все страшнее.

Потому что если я и не знала его, то он-то, конечно, знал свою жену. Должен был мгновенно заметить, что перед ним кто-то другой. И, похоже, уже замечал.

— Что со мной произошло? — спросила я.

Он ответил не сразу.

И за эту паузу я уже успела понять: правды не будет.

По крайней мере, не сейчас.

— Ты была тяжело больна.

Вот и все.

Я почти усмехнулась.

Не потому, что было смешно. Потому, что слишком очевидна была эта первая мужская линия защиты — сказать ровно столько, сколько формально соответствует реальности, и не дать ни одной детали, из которой женщина могла бы собрать свою картину происходящего.

— Этого я уже наслушалась, — сказала я. — Мне нужно не красивое общее, а точное. Чем именно я болела?

Он сдвинул брови.

Едва заметно. Но мне и этого хватило, чтобы понять: да, мой тон уже раздражает его сильнее, чем сам факт моего пробуждения.

— Лихорадкой. Слабостью. Потерей сознания. Истощением.

— И от чего все это началось?

Он молчал.

Опять.

Я медленно провела пальцами по покрывалу.

Чужая ткань, чужая комната, чужой мужчина, чужое имя. Но ощущение лжи было слишком знакомым, чтобы не распознать его сразу.

— Вы ведь понимаете, что я слышу это молчание не хуже слов? — спросила я.

— Ты едва очнулась.

— Именно поэтому у меня есть редкое преимущество. Я еще не привыкла к вашим удобным версиям.

Вот после этой фразы он впервые по-настоящему изменился в лице.

Не сильно.

Но в нем вдруг проступило нечто темное, опасное, как если бы я не просто сказала дерзость, а случайно ткнула пальцем в ту часть реальности, о которой ему самому не хотелось думать слишком прямо.

— Осторожнее, Мирен, — произнес он тихо.

Я подняла взгляд.

— Почему? Потому что я слаба? Или потому что начинаю задавать слишком правильные вопросы?

Тишина.

Почти осязаемая.

И в этой тишине я вдруг остро, почти кожей почувствовала: да, моя смерть действительно была бы для него удобнее моей жизни.

Не потому, что он ненавидел жену.

Хуже.

Потому, что живая я ломала что-то важное. Может, планы. Может, договоренности. Может, его собственную внутреннюю конструкцию, в которой он уже успел пережить меня как обреченную и расставить жизнь дальше без меня.

— Ты изменилась, — сказал он.

Голос все тот же. Сдержанный. Но теперь я уже слышала за ним другое — настороженность.

Хорошо.

Значит, он и правда видел: перед ним не та женщина, которую оставили тихо умирать в этой кровати.

— Возможно, — ответила я. — А вот вы выглядите как человек, которому моя перемена не по вкусу.

— Ты говоришь странные вещи.

— А вы слишком осторожно говорите обычные.

Он оттолкнулся от камина и медленно подошел ближе.

Не настолько, чтобы коснуться. Но теперь я могла видеть его лучше. Темные волосы, откинутые назад. Усталое лицо мужчины, привыкшего мало спать и много держать внутри. Резкая линия рта. Тень под глазами. И взгляд — самое опасное. Не злой. Это было бы проще. Слишком собранный. Слишком расчетливый для мужа, который только что увидел воскресшую почти из мертвых жену.

— Ты меня не помнишь? — спросил он.

Я честно ответила:

— Нет.

Он смотрел еще секунду.

Наверное, проверял. По лицу. По голосу. По телу. И вот тут мне впервые стало по-настоящему тревожно. Потому что одно дело — не помнить эту жизнь самой. Другое — оказаться

напротив человека, который уже понимает, что жена очнулась не просто после болезни. В ней будто не хватает той, прежней, покорной логики.

— А себя? — спросил он.

— Себя тоже нет.

Не знаю, зачем я это сказала.

Может, потому, что устала держаться за видимость контроля. Может, потому, что в этом доме ложь уже успела обжиться до меня, и мне не хотелось начинать свою жизнь здесь с той же ткани.

Он опустил взгляд на мои руки.

На синяки на запястьях.

Потом снова на лицо.

И неожиданно спросил:

— Что ты помнишь последним?

Я почти ответила “ничего”, но в ту же секунду в голове вдруг вспыхнуло.

Белая чашка.

Слишком сладкий запах.

Женский голос: “До дна”.

Темнота.

Я резко втянула воздух.

Он заметил это сразу.

— Что?

Я подняла на него глаза.

Сердце било слишком быстро.

Не от страха даже. От ощущения, что память не мертва. Она просто лежит где-то под кожей, как засыпанный проход, и иногда вдруг дает о себе знать не образом даже — вспышкой.

— Чашка, — сказала я тихо. — Что-то пить... очень сладкое...

Он застыл.

Не знаю, был ли этот миг замечен кому-то другому. Но я его увидела. В его лице мелькнуло не удивление. Напряжение человека, который надеялся, что какая-то часть истории останется запертой глубже.

— Лекарство, — ответил он.

Слишком быстро.

— Вы уверены? — спросила я.

Он молчал.

Я смотрела и чувствовала: нет. Не уверен. Или знает больше, чем хочет сказать. Возможно, не о самом яде — если это был яд. Но о том, что путь к моей “болезни” был не таким простым и естественным, как мне пытались продать с самого пробуждения.

— Кто давал мне это лекарство? — спросила я.

— Лекарь.

— Не служанка? Не Эвелин? Не вы?

Вот теперь его лицо стало по-настоящему жестким.

— Хватит.

Именно это слово убедило меня сильнее любого признания.

Потому что, если бы мои вопросы были безумным бредом женщины, едва очнувшейся от лихорадки, меня бы успокаивали. Укладывали. Уговаривали. А меня оборвали.

Значит, хотя бы часть того, что я нащупывала, была опасно близка к реальности.

— Нет, — сказала я. — Не хватит. Я лежала здесь и умирала, пока вы все вокруг ждали нужного исхода. И теперь хотите, чтобы я просто приняла это как “болезнь”? Слишком поздно.

Он посмотрел на меня очень внимательно.

Слишком.

И от этого взгляда по спине прошел холод. Потому что только теперь я поняла до конца: этот мужчина не просто не рад моему пробуждению. Он решает. Прямо сейчас, глядя на меня, решает, что делать с живой женой, которая, возможно, ничего не помнит — но уже не ведет себя так, как должна бы.

— Ты и правда ничего не помнишь, — сказал он.

Не вопрос.

Почти вывод.

— Нет.

Он кивнул.

И это движение почему-то испугало меня сильнее всех предыдущих. Потому что в нем не было ни облегчения, ни боли. Только новая, быстрая внутренняя работа.

— Тогда слушай внимательно, Мирен, — произнес он. — Пока ты не встанешь на ноги, ты будешь делать ровно то, что скажу я. Не пить ничего без меня. Не говорить ни с кем наедине, кроме служанки. И не выходить из комнаты.

Я уставилась.

— Это забота?

— Это необходимость.

— Для кого?

Он не ответил.

Вот оно.

Женщина, очнувшаяся почти с того света, спрашивает мужа, для кого именно ее изоляция является необходимостью, а тот не может сказать “для тебя” без паузы. Этого мне было достаточно.

— Вы боитесь, что я умру? — спросила я.

Он смотрел молча.

Я чуть наклонила голову.

— Или боитесь, что я останусь жива?

И вот тут я увидела это окончательно.

Не в словах. В глазах.

Моя смерть была бы для него удобнее моей жизни.

Не радостнее. Не желаннее. Удобнее.

Потому что мертвая жена — это траур, порядок, завершение, готовая история. А живая жена, которая ничего не помнит и при этом уже задает опасные вопросы, — это хаос. Угроза. Сбой.

— Ты еще слишком слаба, чтобы понимать, во что лезешь, — сказал он.

— Возможно. Но вы, похоже, слишком хорошо понимаете, куда я уже смотрю.

Он отвернулся первым.

На долю секунды.

А потом снова стал тем самым — сдержанным, темным, почти непроницаемым.

— Отдыхай, — сказал он.

— Нет.

— Мирен.

— Нет. Не пока вы не скажете мне правду.

Он сделал шаг к двери.

Остановился.

Не оборачиваясь, произнес:

— Правда в том, что, если хочешь выжить, тебе придется научиться молчать.

После этого ушел.

Дверь закрылась мягко, почти бесшумно.

А я осталась сидеть на кровати в чужом теле, в комнате, пахнувшей травами, воском и приторной ложью, и понимала: это не болезнь пытается меня добить.

Люди.

И мой собственный муж смотрел на меня так, будто моя смерть действительно была удобнее моей жизни.

Но, к его несчастью, я уже проснулась.

Глава 3: Мне велели лежать тихо, пока в соседней комнате делили мое будущее

После его слов о том, что если я хочу выжить, мне придется научиться молчать, дверь закрылась так мягко, будто ничего страшного в этой комнате не произошло.

Но именно это и было самым страшным.

Не крик.

Не угроза.

Не грубость.

А эта почти спокойная, взрослая убежденность мужчины, который говорит жене о молчании как о форме выживания. Значит, здесь уже давно привыкли, что правду не ищут. Ее переживают. Как лихорадку. Как нервный срыв. Как неудобное состояние женщины, которое нужно просто уложить обратно в подушки, лекарства и тишину.

Я сидела на кровати и не двигалась.

Не потому, что смирилась.

Потому, что тело вдруг напомнило о себе сразу всем: тяжестью в груди, слабостью в ногах, тупой болью в затылке и странной дрожью под кожей, как будто каждая мышца принадлежала не мне и все еще жила в другом ритме. Да, я могла говорить. Могла думать. Могла злиться. Но эта женщина, в чьем теле я очнулась, действительно была долго и жестоко истощена. И если я сейчас буду рваться, не разбирая сил, проиграю не людям вокруг.

Собственному новому телу.

Это было униительно. Но полезно понимать.

Я медленно откинулась на подушки и осмотрелась уже не как испуганная чужачка, а как человек, оказавшийся в ловушке и потому обязанный видеть каждую мелочь.

Окно — одно, высокое, узкое, со свинцовыми переплетами. Если подойти, в него, вероятно, видно часть двора, но с кровати только серое небо и край черной башни. Дверь — тяжелая, дубовая, с внутренним засовом, сейчас отодвинутым. Камин — настоящий, но огонь слабый, будто комнату держали не в уюте, а ровно на таком тепле, чтобы тело не умерло слишком быстро. Столик с лекарствами стоял слишком близко к кровати. Значит, эти пузырьки и чашки были частью режима, а не редкой помощью. Ширма, кресло, сундук, кувшин с водой, таз на подставке, маленькая икона в серебряной рамке — все это складывалось в картину не комнаты жены, а комнаты затяжного ожидания.

Здесь не жили.

Здесь ждали конца.

Я снова посмотрела на чашку с темным следом на дне. Меня тянуло к ней все сильнее. Не мистикой. Подозрением. Но именно сейчас, когда ладони еще дрожали после разговора с мужем, встать и дойти до столика значило признать, что он прав хотя бы в одном: тело не на моей стороне.

Я ненавидела это чувство.

И тут же услышала шаги.

Не в моей комнате. За стеной.

Потом — приглушенные голоса.

Я замерла.

Сначала подумала, что показалось. Но нет. Голоса были настоящими. Один мужской, низкий и недовольный. Второй — женский, холодный, ровный, с той самой сухой четкостью, которую я уже узнала в Эвелин. Значит, они не ушли далеко. И, что еще важнее, не считали нужным расходиться сразу после моего пробуждения.

Я соскользнула с кровати прежде, чем тело успело возмутиться.
Пол был ледяной.

Ноги подкосились почти сразу, но я вцепилась в спинку кровати и заставила себя выпрямиться. Мир на секунду почернел по краям, однако я сжала зубы и двинулась к стене, за которой слышались голоса.

Точнее — к узкой двери у камина, которую раньше не заметила в полумраке.

Она была не в другую комнату, а в маленькую гардеробную или проход для слуг — тесное пространство с полками, вешалками и еще одной, почти скрытой дверью дальше. И именно из-за нее шли голоса яснее.

Я подошла вплотную.

Сердце колотилось так громко, что казалось, меня сейчас услышат раньше, чем я успею разобрать хоть одно слово.

— Это ненормально, — говорил мужской голос. Лекарь. Я узнала его сиплую осторожность. — После такого истощения она не должна была прийти в себя так резко.

— Она и не пришла бы, если бы вы лучше следили за дозировкой, — ответила Эвелин. Меня будто окатило холодной водой.

Дозировкой.

Не лечением. Не состоянием. Дозировкой.

Я замерла еще сильнее.

— Я делал все по вашему распоряжению, миледи, — нервно сказал лекарь. — Больше нельзя было, иначе это стало бы слишком заметно.

Слишком заметно.

Мир качнулся.

Но я уже вцепилась пальцами в дверной косяк так, что ногти, кажется, впились в дерево. Нет. Нет. Я должна была услышать это до конца.

— Замолчи, — отрезала Эвелин. — Сейчас главное не это.

— А что? — резко спросил он. — Что она очнулась и смотрит на всех так, будто видит насквозь? Что она не помнит вас? Что не помнит милорда? Это может быть даже хуже.

— Для кого хуже? — спросила Эвелин.

Пауза.

Тяжелая. Короткая.

Потом лекарь очень тихо:

— Для всех, кому было выгодно, чтобы все уже закончилось.

Я закрыла глаза на секунду.

Лишь на одну.

Потому что иначе просто не выдержала бы.

Вот она. Правда. Не полная, но уже живая, горячая, острая. Меня не лечили. Меня вели. Осторожно, расчетливо, через “дозировку”, “истощение”, “покой” и все эти гладкие слова, под которыми прятали не болезнь, а чью-то волю довести до конца.

И теперь они боялись не только моего выздоровления.

Моей непредсказуемости.

— Она не в себе, — сказал лекарь. — Это можно использовать.

Я почувствовала, как по спине прошел лед.

— Нет, — ответила Эвелин. — Слишком рано. Пока она слаба, это будет выглядеть грубо.

— Но если она начнет говорить...

— Именно поэтому ей надо лежать тихо.

Я почти увидела, как она произнесла это. С тем же ледяным спокойствием, с каким говорила со мной. Так вот откуда эта их нежность. Не от сострадания. От стратегии. Женщину,

которую хотят убрать красиво, нельзя давить слишком явно. Ее надо уложить. Сделать хрупкой. Нервной. Туманной. Такой, чтобы любое ее слово заранее казалось следствием слабости.

— А милорд? — спросил лекарь.

Снова тишина.

А потом:

— Милорд сделает то, что должен.

Я вжалась в стену.

Очень медленно.

Потому что именно этой фразы и боялась больше всего. Одно дело — ощущать, что мужу моя жизнь неудобна. Другое — услышать почти прямое подтверждение: он не просто холодный человек с тяжелым прошлым. Он часть решения.

— Если она не помнит, может, все еще можно... — начал лекарь.

— Можно, — отрезала Эвелин. — Но теперь уже без ошибок.

Шаги.

Я отпрянула от двери так резко, что все внутри взорвалось болью. Перед глазами потемнело, ноги подломились, и я чудом успела ухватиться за вешалку. В следующий момент дверь из гардеробной в мою спальню распахнулась, и на пороге возникла та самая молодая служанка.

Она увидела меня не в постели и побелела.

— Госпожа!

Я не успела ни ответить, ни сделать вид, что все в порядке.

Силы кончились слишком резко. Комната качнулась. Мир поехал в сторону. И если бы служанка не метнулась вперед, я бы рухнула прямо на каменный пол.

— Я... в порядке, — выдохнула я, хотя это было уже ложью.

Она пыталась удержать меня за плечи, дрожа всем телом.

— Вам нельзя вставать! Боже, если леди Эвелин увидит...

— Вот именно, — сказала я сквозь боль. — Нельзя, чтобы увидела.

Она замерла.

Я подняла на нее глаза.

И впервые за все время увидела в ней не просто испуганную служанку. Человека, который давно живет внутри этого дома, слишком много знает и слишком давно привык выживать молчанием.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Нисса, госпожа.

— Нисса, — повторила я. — Ты знаешь, что они меня не лечили.

Она побледнела так сильно, что я испугалась, не потеряет ли сознание она первой.

— Госпожа, я...

— Не ври.

Может быть, это прозвучало слишком жестко. Но времени на мягкость у меня не было. Я только что подслушала достаточно, чтобы понять: прежняя Мирен умирала не от природы. А я теперь оказалась в ее теле среди людей, которые слишком хорошо умели делать смерть похожей на естественный исход.

Нисса затрясла головой.

— Я не могу...

— Можешь. Или я сейчас закричу так, что сюда прибегут все. И тогда пусть Эвелин сама объясняет, почему нашла меня не в постели, а у двери, где я слушала про дозировки.

Она задохнулась.

На секунду я даже увидела в ее глазах почти животный ужас.

Хорошо. Значит, слово попало. Значит, ей есть чего бояться.

— Госпожа, — прошептала она, — пожалуйста... они услышат...

— Тогда говори быстро.
Она судорожно сглотнула.
Голос стал почти неслышным.
— Вас... давно лечили от нервов.
— Это я уже поняла.

— Нет, госпожа. Не просто так. Вам говорили, что вы стали слишком впечатлительной, что после смерти ребенка вы... — она запнулась и закрыла рот ладонью, как будто выдала лишнее.

Я застыла.
Смерти ребенка.
Вот оно.

Первая трещина в чужой жизни, которая вдруг отозвалась не пустотой, а чем-то черным и вязким прямо под ребрами. Как будто это тело помнило раньше меня. Не картинкой. Болью.

— Какого ребенка? — спросила я тихо.

Нисса смотрела с настоящим ужасом.

— Вы правда... не помните?

— Нет.

— Мальчика, госпожа. Он прожил всего два дня.

Мир сжался.

Не мой. Чужой. Но тело среагировало раньше мысли. В груди как будто что-то рвануло изнутри. Я ухватила за край шкафа обеими руками, потому что иначе просто осела бы на пол.

Теперь многое становилось еще страшнее. Не только медленное отравление. Не только удобная “болезнь”. Было еще что-то до нее. Боль. Потеря. Возможно, именно та, на которой потом и построили весь этот домик из “нервов”, “слабости” и “необходимости покоя”.

— После этого, — шептала Нисса, — вы начали бояться пить лекарства. Говорили, что вам от них хуже. Что после них все становится ватным и тяжелым. Что вы не спите, а проваливаетесь. Но леди Эвелин сказала, что это у вас помутнение от горя. И милорд...

Она снова осеклась.

— Что милорд?

Нисса опустила глаза.

— Велел слушаться лекаря.

Конечно.

Вот и еще одна часть правды. Он, может быть, не стоял с ядом у моей чашки. Но был рядом с теми, кто все оформлял как лечение. Муж смотрел на жену, которая боялась пить “лекарства”, и все равно оставил власть над ее телом у людей, которым теперь моя жизнь явно мешала.

— Мне надо лечь, — сказала я резко.

Нисса закивала так быстро, будто только этого и ждала.

Мы почти донесли меня до кровати. Почти — потому что последние шаги я уже сделала на упрямстве, а не на силе. Как только тело коснулось матраса, меня снова накрыла слабость, страшная, липкая, почти унижительная. Я ненавидела ее. Но еще больше — понимала, что именно на ней строилась их власть.

Женщина, которую можно назвать слабой, уязвимой и нездоровой, слишком удобна для чужих решений.

Нисса поправила подушки, налила воды и стояла рядом, не зная, куда деть руки.

— Вы никому не скажете? — прошептала она.

Я посмотрела на нее.

— А ты?

Она вскинула взгляд.

В нем было столько страха, что я вдруг ясно увидела: да, в этом доме молчать учились не только жены. Все. Слуги. Лекари. Родственники. Здесь тишина была не воспитанием. Способом выжить.

— Я вам помогу, — выдохнула она. — Только... только осторожно.

Я кивнула.

Не потому что верила ей полностью. Пока нет. Но это было первое живое “я помогу”, услышанное мной здесь не из расчета, а из страха и, возможно, остатков совести.

— Тогда начни с простого, — сказала я. — Кто в этом доме хочет моей смерти?

Нисса молчала несколько секунд.

Потом очень тихо ответила:

— Я думаю... все, кому было бы легче, если бы вас больше не было.

Честно.

Пугающе честно.

И именно после этого я окончательно поняла: здесь не будет одной злой тетки и одного страшного пузырька с ядом. В этом доме меня убивали удобством сразу для многих.

Через полчаса пришла Эвелин.

Она вошла мягко, почти неслышно, с новой чашкой в руках и той самой безупречно спокойной улыбкой, от которой мне уже хотелось не кричать, а бить стекло.

— Мирен, — сказала она. — Я слышала, ты опять вставала.

Я лежала неподвижно.

Слабость была настоящей. Но теперь я знала: их нельзя пугать тем, что я знаю слишком много. Пока нет.

— Мне стало дурно, — сказала я.

Эвелин поставила чашку на столик.

— Потому что ты упрямисься. Выпей, и станет легче.

Я посмотрела на чашку.

Темная жидкость. Слишком сладкий запах.

Точно такой же, как в том коротком всплохе памяти.

И в эту секунду меня вдруг перестало трясти от страха.

Нет. Не легче.

Злее.

Потому что теперь я уже слышала их. Дозировки. Ошибки. Моя “нервность”. Удобство моей смерти. Больше притворяться, будто это все просто подозрения, было невозможно.

— Нет, — сказала я.

Эвелин чуть склонила голову.

— Что?

— Я больше не буду пить из ваших рук.

На этот раз улыбка исчезла совсем.

И именно это стало моим первым настоящим подтверждением: да, я двигаюсь правильно.

Потому что в соседней комнате они уже делили мое будущее.

А я, к их несчастью, все еще была жива.

Глава 4: В зеркале я увидела женщину, которую убивали не болезнью, а чужой волей

После моего отказа пить новую чашку из рук Эвелин комната изменилась.

Не внешне. Все осталось тем же: тяжелые шторы, слабый огонь в камине, белые цветы, от которых уже пахло не свежестью, а медленным увяданием, темная мебель, лекарственные пузырьки на столике. Но воздух стал другим. Словно до этой минуты я еще могла сойти для них за ослабевшую, капризную больную, а теперь впервые по-настоящему вышла из той роли, в которую меня годами — или неделями, я пока не знала — так старательно укладывали.

Эвелин смотрела на меня молча.

И в этом молчании было уже совсем мало вежливости и слишком много холодного расчета. Женщина, привыкшая управлять мягкостью, терпеть не может, когда ее ласковый тон вдруг перестает действовать.

— Мирен, — сказала она наконец, — ты сейчас говоришь так, будто я хочу тебе зла.

— А разве нет?

Она не вздрогнула.

Не возмутилась.

Не изобразила оскорбленную родственницу.

И это было, пожалуй, самым красноречивым. Люди, которых обвиняют несправедливо, обычно реагируют живо. Хотя бы на мгновение. А она осталась неподвижной. Значит, вопрос не удивил ее. Только усложнил партию.

— Ты слаба, — сказала Эвелин. — И путаешь страх с правдой.

Я почти усмехнулась.

Потому что уже слышала этот принцип. Не в ее словах. В самом доме. Любое женское сопротивление здесь, видимо, давно умели переводить в слабость, страх, нервность, помутнение, истощение. Очень удобно. Если женщина больна, ее можно не слушать. Если она слаба, ее можно уложить обратно. Если ей страшно, страх сам по себе объявляется доказательством, что ей нельзя доверять.

— А вы, похоже, слишком привыкли, что вам верят на слово, — сказала я.

Нисса тихо ахнула у стены.

Я не видела ее лица, но прекрасно чувствовала: каждая моя фраза сейчас для нее звучала не просто дерзостью. Самоубийством. В этом доме, вероятно, не спорили с Эвелин в таком тоне. Тем более — жены, лежащие на грани смерти.

— Осторожнее, — произнесла Эвелин.

И опять — без крика. Без прямой угрозы. С той мягкой сталью, которой обычно и ломают людей надежнее всего. Потому что, когда на тебя не орут, у тебя потом меньше права назвать это насилием.

— Я уже была осторожной, — сказала я. — Судя по всему, это чуть не стоило мне жизни.

Теперь она подошла ближе.

Медленно. Очень ровно. И я снова поразились тому, насколько в ней нет ничего лишнего: ни резкого движения, ни повышенного голоса, ни случайной эмоции. Такие женщины не устраивают сцен. Они строят порядок, в котором сцены становятся не нужны.

— Тебе нужен покой, — сказала она.

— Нет. Мне нужна правда.

— Правда не поможет тебе встать на ноги.

— А вот ваше лечение, как я понимаю, прекрасно справлялось с обратной задачей.

На этот раз в ее лице все-таки что-то дрогнуло.

Совсем чуть-чуть.
Но мне хватило.
Значит, попала.
Она посмотрела на Ниссу.
— Оставь нас.
Служанка побелела.
— Миледи...
— Вон.

Нисса метнулась к двери так быстро, что едва не задела столик. Когда дверь закрылась, мы остались вдвоем — я на кровати, слабая, чужая, злая, и Эвелин у камина, идеально прямая, словно даже собственная жестокость никогда не давила ей на спину.

— Послушай меня внимательно, Мирен, — сказала она. — В этом доме тебя долго пытались удержать в жизни. Не смей превращать это в заговор только потому, что тебе сейчас хочется найти виноватых.

Я смотрела на нее и вдруг очень ясно поняла: дело даже не в том, что она, возможно, лично подливала мне яд или считала дозировки. Хуже. Она действительно верила в собственное право управлять моей реальностью. Верила, что знает лучше, что для меня жизнь, а что покой, что правда, а что помутнение, что забота, а что жесткость во благо.

Вот такие люди и страшнее всего.

Не потому, что всегда травят. А потому, что почти никогда не считают себя злодеями.

— Вы боитесь не моей смерти, — сказала я тихо. — Вы боитесь того, что я начну помнить.

Тишина.

Не долгая. Но абсолютно достаточная.

И именно после нее я поняла: да.

Память.

Вот что стояло у них поперек горла сильнее моего характера, вопросов или отказа пить из чашки. Женщина, которая не помнит, еще может быть уложена обратно в туман. А вот если начнет вспоминать...

— Ты сейчас не помнишь даже себя, — сказала Эвелин, но уже без прежней уверенности. — Так что не строй из этого слишком много.

— Почему же? — спросила я. — Вы ведь явно строили из моей “болезни” достаточно много.

Она шагнула к столику, взяла чашку, которую я отказалась пить, и медленно вылила ее содержимое в огонь.

Пламя вспыхнуло странно. На миг слишком ярко, с синеватым отливом по краю.

Я замерла.

Эвелин заметила.

Поздно.

— Видишь? — сказала она. — Иногда тебе просто нужно меньше думать.

Я ничего не ответила.

Потому что если бы сейчас заговорила, выдала бы слишком многое сразу. Не только подозрение. Уверенность. А уверенность, когда ты лежишь одна в чужом теле среди людей, которым была бы удобна твоя смерть, — роскошь, которую нельзя демонстрировать раньше времени.

Эвелин поставила чашку обратно на столик.

— Я пришлю другой настой. Полегче.

— Не надо.

— Мирен...

— Не надо, — повторила я уже жестче. — Я больше не буду пить ничего, не зная, что именно мне дают.

Она посмотрела на меня очень долго.

Потом кивнула.

И почему-то именно этот кивок напугал сильнее спора. Потому что он не выглядел уступкой. Скорее новым расчетом. Значит, они перестроятся. Поищут другой путь. Давление мягче. Чашку незаметнее. Приказ жестче. Но не отступят.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда начнем с малого. Сегодня тебя никто не будет тревожить.

Я почти услышала то, что она не сказала вслух: сегодня.

Пока.

Потому что теперь им тоже нужно было подумать.

Она ушла.

И лишь когда дверь закрылась, я позволила себе выдохнуть по-настоящему.

Сразу после этого силы кончились. Не фигурально — физически. Я рухнула обратно на подушки, чувствуя, как сердце колотится в висках. Боль в теле стала резче, словно один только разговор вытянул из меня больше, чем я могла себе позволить.

Но вместе с этой слабостью пришло и другое.

Ясность.

Да, меня пытались медленно убрать. Да, здесь все это давно называется болезнью. Да, муж знает больше, чем говорит. Да, Эвелин не просто родственница, а один из центров власти в этом доме. И да — пока я не восстановлю хотя бы часть сил, открытое сопротивление меня просто добьет.

Значит, придется играть тише.

Вот от этой мысли стало почти тошно.

Потому что в глубине души я ненавидела подобные игры. Но еще сильнее ненавидела умирать по чужому сценарию.

Я повернула голову к зеркалу у ширмы.

Оно стояло чуть в стороне, накрытое легкой тканью, но край стекла все равно ловил свет из окна. Меня тянуло к нему с самого пробуждения. Не из тщеславия. Из чувства, что где-то там, в отражении, лежит не просто лицо. Подсказка.

Собрав остатки сил, я села и медленно спустила ноги на пол.

На этот раз встала осторожнее.

Мир качнулся, но не рухнул. Я сделала шаг. Потом еще один. Дошла до зеркала и стянула ткань.

Женщина в отражении смотрела на меня так же пристально, как я на нее.

Бледная. Красивая. Истощенная. И с чем-то страшным в глубине глаз — не безумием, не слабостью, а той самой долго удерживаемой внутренней тревогой, которую так удобно назвать нервной болезнью, если не хочешь признавать, что женщину доводят живые люди.

Я коснулась пальцами щеки.

Потом шеи.

Ключицы.

Тела под сорочкой.

На тонкой коже вдоль ребер проступали бледные тени старых синяков. На шее — почти сошедший след, будто когда-то слишком крепкие пальцы сжались там, где не должны были. На внутренней стороне руки — маленькая точка, как от иглы или булавки. А у основания волос, если присмотреться, скрывался старый тонкий шрам.

Болезнь не оставляет на женщине такой почерк.

Чужая воля — да.

Я смотрела в зеркало и вдруг почувствовала не страх даже.

Ярость.

Почти холодную.

Потому что только теперь до меня дошло окончательно: прежнюю хозяйку этого тела не просто ослабили. Ее долго и последовательно ломали так, чтобы любую ее попытку сопротивляться можно было потом назвать симптомом. Если женщина боится чашки — у нее нервы. Если не хочет пить — каприз. Если кричит — истерика. Если умоляет не давать ей лекарство — помутнение. И при этом на коже остаются синяки, в теле — яд, в памяти — провалы, а вокруг — родственники, которым очень удобно думать, что она сама распадается изнутри.

— Что они сделали с тобой? — прошептала я отражению.

И в ту же секунду по позвоночнику прошел такой резкий холод, что я вздрогнула всем телом.

Не сквозняк.

Не боль.

Память.

Образ вспыхнул внезапно: эти же темные волосы, только уложенные, тяжелое платье, дрожащие пальцы на подлокотнике кресла и голос — мужской, низкий, слишком усталый: «Ты сама себя губишь, Мирен». А потом другой, женский, мягкий, страшно спокойный: «Пей. И станет легче». За этим — сладкий запах. Темнота.

Я вцепилась в край зеркала.

Слишком сильно.

Перед глазами на миг поплыло, но теперь я уже знала: это не просто домыслы. Тело помнит. Не словами. Ужасом. И этот ужас принадлежал не больной женщине, которая внушила себе заговор. Он принадлежал той, кого последовательно учили сомневаться в собственном страхе.

Я медленно выдохнула.

Посмотрела на отражение еще раз.

И наконец поняла главное.

В зеркале я вижу не обреченную жену.

Я вижу женщину, которую убивали не болезнью, а чужой волей.

И если я действительно теперь в ее теле, значит, у меня нет права стать такой же удобной жертвой, какой ее пытались сделать до последнего.

За дверью послышались шаги.

Я успела только накрыть зеркало тканью обратно и вернуться к кровати, прежде чем в комнату снова вошла Нисса с подносом.

Увидев меня сидящей уже в постели, она выдохнула с таким облегчением, будто я не просто легла, а не успела совершить нечто непоправимое.

— Никто не приходил? — спросила я.

Она покачала головой.

Потом совсем тихо:

— Леди Эвелин велела вас не тревожить.

Конечно.

Пока.

Я взяла стакан воды с подноса и посмотрела на Ниссу.

— Зеркала здесь всегда были закрыты?

Она замерла.

Этого мне хватило.

— Значит, да.

— После... после того как вам стало хуже, — прошептала она. — Леди Эвелин сказала, что от отражений вы только пугаетесь.

Я усмехнулась.

Почти беззвучно.

Как удобно. Отражения тоже объявлены опасными для больной жены. Потому что в зеркале женщина хотя бы иногда может увидеть не только себя ослабевшую, но и следы того, что с ней делали.

— Больше не закрывай, — сказала я.

Нисса побледнела.

— Госпожа, если узнают...

— Пусть.

Я посмотрела прямо.

— Потому что я уже знаю достаточно, чтобы не бояться зеркала. Мне теперь надо бояться только тех, кто так долго запрещал в него смотреть.

И, кажется, впервые с момента моего пробуждения в этом доме кто-то услышал во мне не слабость, а то, что действительно должно было напугать всех вокруг.

Я больше не собиралась умирать тихо.

И зеркало это уже знало.

Глава 5: Служанка назвала меня госпожой с таким страхом, будто живая я опаснее мертвой

После разговора о зеркале Нисса стала двигаться по комнате еще тише, чем раньше.

До этого в ее осторожности был просто страх прислуги, слишком долго живущей рядом с чужой болезнью, лекарями и хозяйскими приказами. Теперь — другое. Она боялась не только Эвелин. Меня тоже. Не как жестокую госпожу. Как непредсказуемую перемену, для которой в этом доме не было готового правила поведения.

Я видела это по мелочам.

По тому, как она ставила стакан не на край столика, а ближе ко мне, будто хотела меньше оставлять между мной и вещами пространства, которое может быть отдано другим рукам. По тому, как не сразу отпускала поднос, когда я брала его. По тому, как при каждом шорохе в коридоре вздрагивала всем телом и бросала быстрый взгляд на дверь, а потом на меня.

Люди так не ведут себя рядом с умирающей.

Так ведут себя рядом с человеком, чье внезапное возвращение может испортить слишком многим слишком многое.

— Сядь, — сказала я.

Нисса чуть не выронила полотенце.

— Госпожа?

— Сядь. Я не кусаюсь.

Она побледнела.

И именно от этой бледности я вдруг очень ясно поняла: нет, дело уже не только в субординации. В этом доме даже простой разговор между госпожой и служанкой выглядит опасностью, если госпожа слишком долго лежала слабой и удобной.

Нисса не села.

Только опустила на край низкой скамеечки у двери, так, будто в любую секунду готова была вскочить и выбежать, если я скажу лишнее или кто-то войдет.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда просто отвечай честно.

Она смотрела на свои руки.

Пальцы сжались так сильно, что костяшки побелели.

— Я попробую, госпожа.

— Не “попробую”. Или врешь, или нет.

Она подняла глаза.

На миг.

И в этом коротком взгляде мелькнуло что-то почти отчаянное. Потому что, возможно, именно так прежняя Мирен тоже говорила с ней когда-то — не сладко, не снисходительно, а прямо. И теперь Нисса слышала не только меня новую. Отголосок старой хозяйки, которую, видимо, так и не удалось сломать до полной покорности.

— Хорошо, — прошептала она.

— Кто тебе сказал называть меня госпожой так, будто я уже наполовину мертва?

Она дрогнула всем лицом.

— Я... не понимаю...

— Понимаешь.

Я подалась чуть вперед, игнорируя слабость, которая тут же напомнила о себе тянущей болью под ребрами.

— Ты вошла в эту комнату утром с тем лицом, с каким входят не к больной, а к покойнице, которая внезапно открыла глаза. Кто вас всех так приучил?

Нисса молчала.

Долго.

Так долго, что я уже почти слышала, как внутри у нее идет борьба не между ложью и правдой, а между двумя страхами: страхом перед хозяевами и страхом перед тем, что я уже знаю слишком много, чтобы снова стать удобной тенью в постели.

— Здесь давно думали, что вы не подниметесь, — сказала она наконец.

— Кто “здесь”?

— Все.

Простое слово.

Но оно ударило сильнее длинной исповеди.

Потому что “все” в таких домах означает не поголовное злодейство. Хуже. Общую привычку. Приспособленную тишину. Тот самый мягкий, повседневный сговор, в котором одна женщина медленно умирает у всех на глазах, а дом уже живет дальше так, будто ее конец — часть естественного порядка.

— И ты тоже? — спросила я.

Нисса побледнела еще сильнее.

— Я не хотела...

— Это не ответ.

Она вскинула голову.

И вдруг заговорила быстрее, чем раньше.

Не громко. Но как человек, который слишком долго держал это в себе и теперь не знает, как остановиться, если уже начал.

— Я думала, вы умрете, госпожа. Не потому, что хотела этого. Потому, что все к этому шло. Вас поили, укладывали, запирали, лекарь приходил днем и ночью, леди Эвелин говорила, что вам вредно волнение, милорд велел не спорить с лечением, а потом вы уже почти не вставали. Вы перестали есть. Стали бояться света. Просили не давать вам чашку из вечернего подноса. Ночами кричали. Потом перестали кричать. А потом...

Она осеклась.

— А потом?

Нисса сглотнула.

— А потом в доме начали говорить о вас так, будто вы уже не здесь.

Вот оно.

Вот почему ее страх утром был таким живым.

Не просто из-за моего пробуждения. А потому, что все вокруг давно внутренне пережили меня как почти умершую. А люди очень не любят, когда в доме возвращается тот, кого уже успели вычеркнуть без формального траура.

— Как именно говорили? — спросила я.

— Что вам надо покой, — тихо ответила она. — Что вы слишком слабы. Что если милорд не вмешается, дом развалится от ваших... состояний. Что вы уже не выдерживаете жизнь здесь. Что после потери мальчика вам лучше бы не мучиться так долго.

Я закрыла глаза на секунду.

Мальчик.

Опять.

Каждый раз, когда эта чужая потеря входила в разговор, тело отзывалось раньше сознания. Не образом. Не памятью. А темной, жуткой болью под грудиной, словно где-то там лежал давно заживший шрам, по которому сейчас вдруг снова провели ножом.

— Мне говорили это в лицо? — спросила я.

Нисса опустила взгляд.

— Иногда. Но чаще — не вам. При вас. Так, чтобы вы слышали.

Господи.

Вот это и есть самый страшный способ ломать женщину. Не открыто. Не в признании. А в этой вязкой, липкой атмосфере, где о тебе уже говорят как о слабой, опасной, почти законченной, пока ты еще жива и сидишь рядом. Через такое очень легко свести человека с ума, а потом самой же и указывать на его расшатанное состояние как на доказательство собственной правоты.

— Леди Эвелин вас любит? — спросила я вдруг.

Вопрос вырвался сам.

Но, кажется, именно он оказался самым точным.

Нисса вздрогнула.

— Что?

— Прежнюю Мирен. Она любила ее?

Нисса долго молчала.

Потом едва заметно покачала головой.

— Нет, госпожа. Она вас... терпела.

Хорошее слово.

Жестокое.

Потому что терпят не тех, к кому равнодушны. Терпят тех, чье существование мешает, но пока нельзя убрать открыто. И, видимо, именно такой прежняя Мирен и была для Эвелин.

— А милорд? — спросила я.

Нисса уставилась на меня так, будто это был самый опасный вопрос из всех.

Может, так и было.

— Я не знаю, — прошептала она.

— Ложь.

Она резко вдохнула.

— Я правда не знаю, госпожа. Иногда мне казалось, что он вас жалеет. Иногда — что боится. Иногда — что злится. Но больше всего...

— Что?

— Что ему было легче, когда вы молчали.

Я смотрела на нее и чувствовала, как внутри что-то медленно встает на место. Не любовь. Не ненависть. Не простая схема “муж-злодей, жена-жертва”. Хуже. Он мог и не хотеть моей смерти напрямую. Но тишина, слабость и покорность жены были ему удобнее, чем живая женщина с памятью, болью и вопросами.

Именно это я уже увидела в его взгляде.

Именно это Нисса теперь подтвердила.

— Когда я перестала молчать? — спросила я.

Она моргнула.

— Что?

— Прежняя Мирен. Когда она начала сопротивляться?

Нисса сжала передник.

— После смерти младенца сильнее. Но и раньше тоже. Сначала тихо. Говорила, что не хочет лекаря. Что от настояв ей хуже. Просила милорда оставить вас с ней наедине. Потом перестала пить без меня. Потом велела прятать чашки. Потом...

— Потом что?

— Потом вы сказали, что в этом доме хотят не вашего выздоровления.

Я замерла.

Не потому, что это было неожиданно. Наоборот. От этого становилось особенно страшно. Значит, прежняя хозяйка тела не была сумасшедшей. Не была просто слабой женщиной, которая от горя начала видеть зло в каждой тени. Она дошла до той же точки, где была сейчас я.

Только я пришла туда за один день, а ее, видимо, вели туда неделями — и потом использовали это знание против нее самой.

— И что мне ответили? — спросила я.

— Что вы больны, госпожа.

Конечно.

Другого ответа и быть не могло.

Я медленно выдохнула.

Слабость чуть отступила, уступая место чему-то жесткому и очень холодному. Теперь картина становилась яснее. Не полностью, но достаточно, чтобы увидеть схему.

Потеря ребенка.

После нее — “лечение”.

После лечения — еще большая слабость.

Попытки женщины отказаться от лекаря и чашек.

Разговоры в доме о ее нервах, состоянии, опасности, покое.

И муж, которому, как сказала Нисса, легче, когда она молчит.

Неудивительно, что она почти умерла.

Чудо было скорее в том, что успела хоть что-то понять до конца.

— Почему ты мне сейчас это рассказываешь? — спросила я.

Нисса подняла взгляд.

Слишком быстро отвела.

— Потому что вы смотрите не так.

— Как?

— Не как раньше.

Я ждала продолжения.

Она слотнула.

— Раньше вы все еще надеялись, что вас кто-то спасет. Теперь — нет.

Вот это ударило глубже всего.

Потому что да. Даже без памяти я уже знала это о прежней Мирен телом: очень долго она, видимо, жила в ожидании, что ее услышат, защитят, остановят, поверят. А потом перестала. И именно в этом месте, наверное, и стала по-настоящему опасной для всех вокруг.

— Значит, когда я перестала надеяться, мне стало хуже? — спросила я.

— Да, госпожа.

Как просто.

И как страшно.

Пока женщина надеется на чужую защиту, с ней еще можно жить. Как только начинает видеть ситуацию без этой надежды — ее надо глушить сильнее.

За дверью снова послышались шаги.

На этот раз тяжелее.

Мужские.

Нисса вскочила так резко, будто ее подбросили.

— Лягте, госпожа.

— Почему?

— Потому что если милорд увидит, что я так долго говорила с вами наедине...

Она не договорила.

И не нужно было.

Я уже понимала. В этом доме все, что укрепляло меня, было подозрительным. Все, что делало слабее, называлось заботой.

Я легла.

Нисса успела поправить покрывало как раз в ту секунду, когда дверь открылась.

Рэйвен вошел без стука.

На этот раз один.

Взгляд у него сразу скользнул по комнате — ко мне, к служанке, к столу, к зеркалу, которое теперь больше не было закрыто.

Вот на зеркале он и остановился.

Почти незаметно.

Но я уже училась улавливать именно такие движения.

— Кто велел убрать ткань? — спросил он.

Нисса побелела.

Я ответила раньше:

— Я.

Он перевел взгляд на меня.

— Зачем?

— Потому что мне надо видеть, кто именно лежал в этой постели, пока все вокруг ждали ее смерти.

Нисса шумно втянула воздух.

А в лице мужа снова появилось то самое выражение, от которого по коже шел холод: не злость. Усталое, мрачное понимание, что я снова заговорила слишком близко к тому, что ему не хотелось бы слышать вслух.

— Выйди, — сказал он Ниссе.

Она исчезла мгновенно.

Мы остались вдвоем.

Он подошел ближе к кровати.

На столик не посмотрел. На чашки — тоже. Только на меня. И в этом взгляде было уже не столько недоверие, сколько изучение. Как будто он пытался понять, где именно во мне кончается Мирен, которую он знал, и начинается кто-то, кого не просчитывал вовсе.

— Ты много говорила со служанкой, — сказал он.

— Да.

— И что нового узнала?

Я посмотрела прямо.

— Что быть живой здесь для меня опаснее, чем было бы умереть.

Он ничего не сказал.

Но именно это молчание и стало ответом.

Потому что человек, которому в лицо говорят такую фразу и который не возражает сразу, уже слишком много знает о правде этих стен.

— Она назвала меня госпожой с таким страхом, будто живая я опаснее мертвой, — произнесла я тихо. — И теперь я начинаю понимать почему.

Он стоял неподвижно.

А я вдруг очень ясно поняла: да, прежнюю Мирен в этом доме давно уже учились не только травить. Бояться тоже.

И, возможно, именно это меня сейчас и спасало.

Потому что мертвую женщину удобно оплакать.

А вот живая, которая перестала молчать, всегда делает чужие лица уродливее.

Глава 6: Я нашла письмо, которое обреченная жена не успела никому отдать

После моих слов о том, что быть живой в этом доме для меня опаснее, чем было бы умереть, Рэйвен долго молчал.

Слишком долго для человека, который считает обвинение нелепым.

Он стоял у кровати, высокий, темный, с тем самым лицом, на котором ничего нельзя было прочитать сразу, если не смотреть очень внимательно. А я уже начала смотреть именно так. Не как женщина на мужчину. Как человек на угрозу, которая научилась ходить в человеческой коже слишком уверенно, чтобы ее замечали неподготовленные.

— Ты снова говоришь так, будто все здесь тебе враги, — сказал он наконец.

— А это не так?

— Нет.

Я почти усмехнулась.

Слишком короткое, слишком готовое “нет”. Как будто он и сам услышал, насколько пусто оно прозвучало, но уже не мог вернуть его обратно и заменить чем-то убедительнее.

— Тогда скажите мне одну вещь, милорд, — сказала я. — Кто в этом доме хочет, чтобы я жила?

Он не ответил.

И, пожалуй, именно это было самым страшным за весь наш разговор. Не прямое признание. Хуже. Мужчина, который не может назвать ни одного человека рядом, кому была бы по-настоящему нужна жизнь его жены.

Я смотрела на него и вдруг с ледяной ясностью поняла: да, прежняя Мирен умирала здесь не просто в окружении врагов. В окружении людей, для которых ее жизнь не была ценностью. А это иногда опаснее ненависти.

— Вот именно, — тихо сказала я.

Он сдвинул брови.

— Ты слишком быстро делаешь выводы.

— Нет. Это вы слишком долго жили рядом с этой женщиной, чтобы не замечать, к чему ее ведут.

На этот раз он отвернулся первым.

Не резко. Но я уже видела: да, эта фраза ударила туда, куда нужно. Не в любовь. Не в вину. В ту мутную мужскую зону между “я не хотел ее смерти” и “мне было удобно ничего не видеть, пока все решали без меня или за меня”.

— Тебе нужен отдых, — сказал он.

— Мне нужен не отдых.

— Мирен.

— Мне нужно то, что вы все так долго от меня прятали.

Он снова посмотрел прямо.

И я почти физически ощутила, как в нем работает расчет: сколько мне сказать, сколько скрыть, насколько я слаба, насколько опасна, что я уже успела услышать, что успела понять, насколько быстро можно будет снова уложить меня в постель и туман.

— Ты сейчас не в том состоянии, чтобы...

— Чтобы услышать правду? — перебила я. — Очень удобно. Я замечаю: чем ближе я подхожу к ней, тем сильнее всем вокруг нравится слово “состояние”.

Он молчал.

Потом, не прощаясь и не добавив ничего, развернулся и ушел.

Просто вышел.

И в этом уходе не было ни победы, ни достоинства, ни высокой мужской сдержанности. Только неготовность выдержать меня живую дольше, чем необходимо.

Когда дверь закрылась, я еще несколько секунд сидела неподвижно.

Силы снова уходили слишком быстро. Разговоры с ними словно выбивали из этого тела больше, чем я могла себе позволить. Но вместе с этой слабостью росло и другое чувство — почти звериное упрямство. Если прежнюю Мирен годами учили лежать тихо, пить, слушаться и не доверять себе, значит, первое, что мне сейчас нужно, — научиться делать обратное.

Смотреть.

Запоминать.

Не глотать ничего из чужих рук.

И главное — искать то, что прежняя хозяйка тела, возможно, пыталась спрятать до конца.

Я повернула голову к столику у окна.

Пузырьки. Чашка. Засохшие цветы. Кувшин. И — маленькая шкатулка, которую раньше почему-то не замечала. Темное дерево, стертый золотой узор по крышке и латунная щеколда. Она стояла за высокой вазой, будто ее не прятали грубо, а просто отодвинули в ту часть поля зрения, куда у слабой женщины уже нет привычки тянуться.

Я медленно поднялась.

На этот раз без спешки.

Тело протестовало сразу: ватные ноги, слабость в плечах, тошнота где-то под диафрагмой. Но я уже знала его язык. Это не тот предел, за которым я рухну. Это тот предел, на котором меня приучали останавливаться.

Шаг.

Еще один.

До окна добралась почти без потери сознания — уже победа.

Серое стекло было холодным, за ним виднелась часть внутреннего двора, каменная арка, крыши боковых корпусов и кусок сада, где голые ветви цепляли небо, как черные пальцы. Красиво. Мертво. Идеальное место, чтобы тихо доживать, если вдруг поверишь, что у тебя нет выбора.

Я отодвинула вазу и взяла шкатулку.

Заперта.

Конечно.

Я провела пальцем по щеколде, по трещине на крышке, по стертым завиткам. Не драгоценность. Не памятная вещь. Скорее мелкий личный предмет, который долго открывали нервными руками, а потом спрятали там, где он как будто и не нужен.

Ключа не было.

Я уже хотела поставить ее обратно, когда заметила, что один угол крышки подбит тонкой шпилькой. Не замком даже. Почти импровизированной защелкой. Значит, кто-то уже вскрывал ее не по правилам. Хорошо.

Я вытащила шпильку из собственных волос — тяжелые, чужие, длинные пряди тут же скользнули на плечо — и осторожно поддела щеколду. На третий раз она поддалась.

Внутри не было украшений.

Ни писем в шелковых лентах, ни миниатюр, ни сентиментальных женских мелочей.

Только сложенный втрое лист бумаги, маленький серебряный медальон без цепочки и сухой пучок лаванды, уже крошащийся от времени.

Сердце ударило так резко, что я едва не уронила шкатулку.

Лист.

Вот оно.

Тело среагировало раньше мысли. Не моим страхом. Ее — Мирен. Как будто пальцы уже однажды так же дрожали над этим же листом, зная, что внутри — не просто слова. Последняя попытка оставить себе голос, если вокруг тебя уже давно учатся говорить за тебя.

Я развернула бумагу.

Почерк был неровный, но красивый, явно женский. Несколько строк расплылись от воды или слез, однако большинство слов сохранились.

«Если я снова не доживу до утра, это не слабость. Я не сумасшедшая. Я не путаю лекарство со страхом. После вечернего настоя я не сплю — я проваливаюсь. Если кто-то когда-нибудь найдет это письмо, не верьте словам о моих нервах. Меня делают тише не горе и не болезнь».

Я перестала дышать.

На секунду.

Потом еще раз прочла.

И еще.

Никакой двусмысленности.

Никакого “может быть”.

Прежняя Мирен знала.

Не смутно подозревала.

Не истерически боялась всего подряд.

Знала.

Меня не просто накрыло ознобом — по коже прошла такая волна чужого ужаса, что я едва удержалась на ногах. Как будто эти строки были написаны не рукой, а плотью. Как будто она вцепилась в бумагу в тот момент, когда поняла: словами ей уже не поверят, а значит, остается хотя бы оставить след для того, кто однажды посмотрит на все это без их привычного языка.

Я быстро перевернула лист.

На обороте было еще несколько строк, более кривых, словно писались в спешке.

«Не оставляйте чашку на столике. В ней сладость перед сном. Если я не проснусь — ищите не в лекаре одном. И не верьте, если он скажет, что милорд не знал. Он знает не все, но достаточно, чтобы молчание уже стало виной».

Мир качнулся.

Не физически.

Внутри.

Потому что теперь все становилось не просто мрачным. Точным. Мирен не только подозревала лечение. Она оставила прямое предупреждение. И самое страшное было даже не в яде, не в чашке, не в словах про лекаря.

“Не верьте, если он скажет, что милорд не знал”.

Значит, даже в ее последних надеждах муж не был невинным. Возможно, не тем, кто подливал. Но тем, кто слишком долго позволял подливать рядом с собой.

Я сжала письмо так сильно, что бумага захрустела.

Нет. Осторожнее.

Я заставила пальцы ослабить хватку и снова положила лист на ладонь. Нужно думать. Не рыдать. Не кричать. Не рваться к нему прямо сейчас с этим доказательством. Потому что если я понесу письмо туда, где меня уже пытались уложить обратно в “состояние”, они просто отнимут и его. Назовут бредом, старой паникой, женским приступом. Нет. Сначала надо понять, кто еще мог знать, кто видел, кто помогал ей, где еще есть следы.

Я перевела взгляд на медальон.

Открыла.

Внутри оказалась крошечная прядь светлых детских волос и почти стершаяся миниатюра младенца в серебряной рубашечке.

Ребенок.

Тот самый мальчик.

Именно в этот момент что-то во мне будто провалилось внутрь на полшага глубже. Не память картинкой. Скорее волна такой глухой, беззвучной боли, что в груди стало пусто и тяжело одновременно. Значит, все правда. Ребенок был. И прежняя Мирен держалась за него не как за далекое горе, а как за последнюю живую нить к себе до того, как ее объявили слабой и неудобной.

Я закрыла медальон.

И только тогда услышала шаги в коридоре.

Резкие. Быстрые. Не Нисса.

Я метнулась обратно к шкатулке, засунула письмо и медальон под сорочку, прямо к телу, и едва успела закрыть крышку, когда дверь распахнулась.

На пороге стояла Эвелин.

Одна.

Увидела меня у окна.

Шкатулку.

Чуть сдвинутую вазу.

И, главное, мой взгляд.

Не слабой, не туманной, не покорной женщины.

Ее лицо осталось ровным. Но я уже научилась видеть под этой ровностью тонкие трещины.

— Ты снова встала, — сказала она.

— Да.

— И что ищешь?

Очень правильный вопрос. Слишком правильный. Не “как ты себя чувствуешь”. Не “почему ты не лежишь”. Значит, да — она вошла сюда уже с подозрением. Возможно, кто-то заметил движение. Возможно, просто слишком хорошо знала привычки прежней Мирен. Или свои собственные слабые места в комнате, где держали почти покойницу.

— Воздух, — ответила я.

Она подошла ближе.

Глаза скользнули по столику. По шкатулке. По моим рукам. И я почувствовала, как сердце начинает биться чаще. Не показывать. Ни одного лишнего движения. Если сейчас рефлекторно коснусь груди, где под сорочкой спрятано письмо, проиграю.

— В этом доме его достаточно, — сказала Эвелин.

— Не уверена. По-моему, здесь слишком много всего другого.

Она остановилась на расстоянии вытянутой руки.

Запах от нее был тонкий, сухой — лавандовый, с чем-то металлическим. И от этого меня вдруг передернуло. Лаванда. Та самая, что лежала в шкатулке. Та самая, что стояла в комнате запахом привычки и подавленного ужаса.

— Мирен, — сказала она очень тихо, — я не хочу, чтобы твое пробуждение превратилось в новую форму мучения. Тебе нужно понять главное: чем тише ты будешь сейчас, тем легче всем будет пережить то, что случилось.

Всем.

Не мне.

Всем.

Вот и вся ее правда.

Я смотрела на нее и знала: письмо уже жжет мне кожу под сорочкой. Не от температуры. От значения. У меня впервые было не только подозрение, не только услышанные шепотом слова. У меня было то, что прежняя Мирен не успела никому отдать.

— А если я не хочу, чтобы всем было легче? — спросила я.

На миг она перестала улыбаться совсем.

Очень маленький миг.

Но мне хватило.

Потому что именно этой фразы она и боялась больше всего. Не громких обвинений. Не женской истерики. Отказа снова играть в общее удобство.

— Тогда тебе будет тяжелее, — сказала она.

— Мне и так тяжело.

— Нет. Ты еще не понимаешь, насколько.

Вот в этой угрозе, почти беззвучной, и прозвучало все.

Они думали, что у меня ничего нет.

Ни памяти. Ни сил. Ни союзников. Ни улик.

А теперь у меня под сердцем лежало письмо, которое обреченная жена не успела никому отдать.

И этого уже было достаточно, чтобы я перестала быть просто выздоровевшей проблемой.

Я становилась ее продолжением.

А значит, опасностью для всех, кто так долго делал вид, будто она умирает сама.

Глава 7: Женщина, занявшая место у его стола, слишком рано почувствовала себя хозяйкой

После того как я спрятала письмо Мирен под сорочку и услышала от Эвелин ее мягко завуалированную угрозу, во мне окончательно исчезла последняя иллюзия, что у меня есть время быть слабой.

Нет.

Слабость у этого тела была.

Настоящая. Тяжелая. Липкая, как лихорадочный пот после долгой ночи. Но права на слабость у меня уже не было. Не здесь. Не среди людей, которые так давно привыкли обсуждать мою смерть как вопрос удобства, что даже пробуждение встречали не радостью, а напряженным перерасчетом своих планов.

Эвелин ушла не сразу.

Еще немного постояла у окна, словно хотела забрать у меня сам воздух этой комнаты, если не удастся забрать управление. Потом поправила вазу, провела пальцами по скатерти на столике и, не глядя мне в лицо, сказала:

— К ужину ты спустишься.

Я замерла.

— Что?

— Дом должен видеть, что тебе лучше.

Вот так.

Не “если будешь в силах”. Не “может быть”. Не забота о моем выздоровлении. Показ. Публичная сцена. Значит, моя жизнь уже снова становится не моим состоянием, а частью чужой политики. И если меня решили вывести к ужину, это не потому, что мне окрепнуть нужно среди людей. Потому, что кому-то важно, как именно дом увидит мое возвращение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.